



Рассказы
русских писателей
—
Зверь
в венецианском
зеркале



Москва
2024

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
3-43

Художественное оформление
Степана Костецкого

В оформлении использована
картина Джованни ди Паоло
«Благовещение и Изгнание из рая» (ок. 1435)

3-43 **Зверь** в венецианском зеркале : рассказы русских писателей. — Москва : Эксмо, 2024. — 480 с.

ISBN 978-5-04-204289-8

Звезды Серебряного века сотворили свой иллюзорный мир, в котором реальность как будто отражается в старинном туманном зеркале...

Вместе с ними мы отправляемся на встречу загадочным личностям, чьи мотивы вряд ли сулят нам что-то хорошее, неясным предчувствиям и тревожным ожиданиям.

Раскрывая тайны персонажей Леонида Андреева, Зинаиды Гиппиус, Павла Муратова, Алексея Ремизова и Федора Сологуба, мы в смятении можем обнаружить и свои собственные темные уголки души...

Дизайн этого лимитированного издания серии «Яркие страницы» вдохновлен природными мотивами картины Джованни ди Паоло «Благовещение и Изгнание из рая» (ок. 1435).

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-204289-8

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2024

309

Зачем ты снова явилась мне в эту ночь — тяжкую и долгую, как дорога в ад, когда, спотыкаясь под ношей воспоминания, бредет по ней обреченная мукам душа? Чем дальше ведет ее грозный путь, тем мельче становятся образы оставшейся позади жизни, тем глуше и тише ее незабвенные отзвуки. А дьяволы вечного отчаяния, ждущие добычу, все растут и растут впереди — и вырастают, как столетние дубы, и язвительный хохот их переходит в раскаты грома.

Да! Я был близок к мысли, что гром — хохот дьявола в эту ночь, когда тучи черной медвежьей шкурой лежали над Римом, ливень хлестал Палатин и Капитолий, а Тибр вздувался в оковах набережной, пытаюсь, как узник, вырваться на свободу и затопить Трастевере мутной волной.

Щели в ставнях вспыхивали голубыми огнями непрерывно струившихся молний. Я жмурил глаза. Я кутался в одеяло. Я прятал голову под подушки. Ничто не помогало: кто чувствует грозу, тому не надо видеть молнии, не надо слышать грома, чтобы страдать от нее.

Гроза затихла, но не прошла. Она висела в воздухе, как отдыхающая орлица. Ее дыхание отразило ночь — ночь чернее Мамертинского подземелья и столько же полную призраков. О тоска тьмы, напитанной электричеством! Ты хуже кошмара: ты смелее его. Кошмар, как вор, подкрадывается к сонному. Ты же — огромное привидение в траурной мантии — дерзко садишься на грудь чело-

века в твердой памяти, со свободной волей и, положив на его горло тяжелые лапы, любишь, когда он, задыхаясь, бьется в своей постели, точно рыба на песке.

В такую-то минуту — о Зоэ! — ты пролетела предо мною... во сне или наяву?

Яркий луч нес тебя сквозь мрак, ничего не озаряя в нем, кроме тебя. Ты сверкнула, подобно осеннему метеору, и полоса света, как на небе после метеора, долго лежала перед моими глазами твоим следом, медленно выцветая.

Ах! и сейчас я вижу тебя в этом луче: белую и прозрачную, точно фарфор, окутанную в голубой шелк венком серебряных колосьев на золотистом пепле волос, рассыпанных по полудетским плечам. Вижу тебя такой, как очаровала ты впервые мое воображение. Ты — женщина Севера, со стальными глазами! Ты — дитя вечного горя и минутных торжеств!

Беломраморный зал сиял огнями. Ты пела. Тысячи глаз впивались в тебя. На красном сукне эстрады ты казалась светлым ангелом, слетевшим из рая в адский огонь, чтобы освежить каплей влаги запекшиеся уста грешника. Я не помню звуков, петых тобой. Что в них? Ты сама была живой симфонией молодой и богатой жизни, ты, как пташка, свободно и счастливо летела на крыльях торжественной гармонии, слагавшейся десятками инструментов, послушных жезлу седого капельмейстера.

И когда я снова увидел тебя такой, долго потом сидел впотьмах на своей одинокой кровати, полный воспоминаний и волнений. Зачем ты явилась мне сейчас? Зачем являешься вообще? Кто был я тебе, кто была ты мне, что теперь твое загробное дыхание веет в мою жизнь, и никогда струны моей души не звучат звонче и грустнее, чем если коснется их твоя мертвая рука?

Мы редко видались, когда ты была жива. Мы не были друзьями. Больше: мы не любили друг друга. Правда, я любовался тобой, но вчуже, как любят картину, проникнутой духом могучей художественной силы.

Она дышала в тебе навстречу каждому и тянула к себе людей, как магнит железо. Казалось, богатство твоей души тяготило тебя самое. Демон, служащий чародею, если нет ему работы, начинает мучить самого чародея. Талант — тот же демон. Тебя волновала смутная жажда деятельности — могучей и великолепной. А я думал:

«Эта девушка — не знаю, чем будет, но способна быть всем, чем захочет. Но, на свое горе, она сама не знает, чем ей быть... и, быть может, никогда не узнает».

Ты знала, что я так думаю, и не любила меня именно за это. Я гордился твоей нелюбовью: она выделяла меня из толпы поклонявшихся тебе друзей — рабов, которых ты и любила, и презирала.

Такова уже судьба человека: не уважать тех, кто любит нас слишком наивно, и не любить тех, кто понимает нас слишком хорошо. Потому что, раз человек понял другого, между ними нет уже места поклонению; они осуждены на равенство, ненавистное гордому духу. Женскому — в особенности. Женщина должна быть или рабой, или царицей; в равенстве ей скучно и душно.

Наши встречи и беседы — дружеские на вид — были полны тайного недоброжелательства, заметного лишь для нас двоих. Наши шутки были слишком злы. Мы любили ловить друг друга на неловком слове, неловком обороте речи, на каждой недомолвке, каждой непоследовательности.

За глаза и в глаза мы трунили друг над другом, стараясь нанести как можно больше ударов и моему, и твоему самолюбию и чтобы удары попадали как можно больше и глубже. А самолюбия были огромны...

Часто наблюдал я, как твой взор — глубокий взор сероглазой королевы эльфов: мечтательный и властный, туманный и повелительный — неподвижно застывал где-то вдаль, на воображаемой точке, видной тебе одной. И мне хотелось спросить:

— Какой трон рисует вам гордый полет воображения? Какого сказочного принца, чтобы взвести вас на этот трон?

Пришел и принц. Ты полюбила и стала женой любимого человека. Я равнодушно приветствовал твое молодое счастье... короткое, жалкое счастье нескольких дней.

Королева фей! Ты на сцену смотрела как на жизнь, а на жизнь — как на сцену... Когда спектакль любви кончился, когда упали пестро раскрашенные кулисы, когда очаровательный театральный принц снял с лица румяна и белила, а с плеч мишурный кафтан, — ты растерялась... смутилась... ужаснулась.

Вся юность твоя была поэтическим самообманом величия и красоты. И все рухнуло. Нет ни трона, ни принца — есть красавец муж в толстом пиджаке и широких штанах, который больше всего на свете боится, как бы твои фантазии не перешли в истерику.

Ты, как статуя, жила на пьедестале: гордой, уединенной богиней, выше мира и людей. Женщина одиночества отдалась человеку толпы. Жизнь звала. Пришлось сойти с пьедестала и смешаться с толпой. Ты оказалась в ней чужой, как голубка в стае черных воронов: робка, странна, неумна, неловка... всегда жалка, иногда смешна.

Сказки Севера передали нам образы лебединых жен, которые увлекались любовью к смертным богатырям: тогда оставляла их сверхъестественная сила, и, прикованные к заботам земли, влача вялую жизнь жены-рабыни, они изнемогали в мятежной тоске по голубому небу и плавающим в его просторе сестрам — облакам. И если не отрастали вновь их обрубленные лебединые крылья, они хирели, чахли, умирали, как зачахла и умерла ты, обманутая самой собой и людьми, с ненавистью к земле и без надежды на небо.

Бежали годы. Я встречал тебя чаще, чем прежде, раз от раза все более и более отцветающей; ты умирала телом, угасала душой. Твоя красота разрушилась. Твой талант увял, неверующим глазом смотрела ты вперед. А когда озиралась на пройденный тобой путь, — о, какой язвительной тоской звучали твои холодные металлические речи! То был

хохот трагического демона иронии, вселенного в тебя отчаянием. Его острый, угрожающий взгляд сверкал в суровом блеске твоих, точно оледенелых, глаз. Ты старательно избегала встречаться с моим взором, потому что знала, как ясно я читаю в душе твоей последнюю радость: скорее бы умереть!.. — и тебе не надо было чуждого участия.

Ты умерла. Я не имел духа взглянуть на тебя в гробу — обезображенную смертью. Я счастлив этим: иначе твое имя подсказывало бы теперь моей памяти не светлый голубой образ, мелькнувший передо мной в луче ночной молнии, но раздутый труп — отвратительный сарказм смерти и разложения.

Друзья несли на плечах к могиле твой обвитый венками, сверкающий белой парчой гроб и забросали его мокрой глиной. Монахи пели тебе вечную память, однако все тебя скоро забыли... все — и я, быть может, скорее других.

Но однажды зеленой весной, когда в окна моего кабинета задумчиво глядела таинственная луна, а я, сидя верхом на подоконнике открытого настежь окна, слушал мерный шум засыпающего города, какой-то звук в этом шуме внятно сказал мне:

— Зоэ!

И вдруг мне стало безмерно жаль твоей погибшей жизни, и стыдно! стыдно!! непонятно стыдно!!! что я забыл тебя... Я долго рассматривал твой портрет. На нем лежало яркое лунное пятно. Мне казалось, что ты улыбаешься длинной, печальной улыбкой — важной улыбкой смерти над бесполезным сном жизни. О, бедная, бедная! Прекрасная, как цветок, увядшая, как цветок, и, как цветок, забвенная, — цветок без завязи, не оставивший по себе ни плода, ни следа... Пустоцвет!..

Как горько звучит это опошленное слово, когда звучит оно про тебя!

Жалость росла, глаза были мокры, я впервые понял, что мы с тобой были друзьями больше, чем думали. Но ведь это была одна минута, только одна чувствительная

минута, прогнанная стаканом вина за ужином и крепким семичасовым сном...

Но зачем потом... через неделю, может быть, через две недели — не помню... потянуло меня в монастырь, где мы тебя зарыли в землю? Я удивился, как хорошо там. Падал вечер; белое море цветущих яблонь и вишень монастырского сада, что позади кладбища, стало розовым. Колокол — маленький будничный колокол — медленно звякал, призывая братию ко всенощной... и, когда отзвывал, грустный, дребезжащий звук долго тянулся и умирал в трепещущем воздухе. Я смотрел на твой черный мраморный крест, на дерн, которым затянуло твою могилу, и думал: это потому он такой зеленый и сочный, что *она* напитала его своим телом... На кресте налипли лепестки яблоневого цвета... По заре тянуло тонким холодком, и дух яблонь тихой струей колыхался над могилами... Я, как всегда, не верил в смерть и мертвецов и чувствовал, что я — живой с живыми, хоть и незримыми. И ты, Зоэ, была тогда там! Была, разлитая в благоухании цветов, в розовом трепете вечера, в плаче отзвучавшего колокола...

Я помню раскаленную зноем синеву неба и силуэты ломбардского городка, прилепленного к скалам... Когда у маленькой проходной станции на минуту замер грохот нашего поезда, высоко над нами звонили к *Agnus Dei*¹, а в окно вагона пахло яблоневым духом, и мне захотелось думать о твоей могиле — там, на мутном севере, в ограде старого монастыря.

— *Pronti!*² — крикнул кондуктор.

Поезд рвался вперед. Но когда он пробежал платформу, ты мелькнула от окна к окну моего купе! Я видел твою склоненную голову с развитым локоном на снежно-бледной щеке. Я едва не протянул руку, чтобы поймать порхнувший в окно дымчатый лоскут твоего длинного шарфа.

¹ Агнцу Божию (*лат.*).

² Поторопитесь! (*фр.*)

Была тоже странная ночь... Круглая и желтая луна щитом плыла мимо Колизея; с робкой поспешностью мигала над ней зеленая Вега. Амфитеатр наполовину сиял голубым светом, наполовину тонул в голубой мгле. Огромные внимательные звезды глядели в его просветы. Я сидел на арене, спустив ноги в черную бездну развалин водомоя, и думал о сотнях тысяч людей, что до меня топтали эту пропитанную кровью арену. Думал о том испанском художнике, который прославился «Видением в Колизее», но — сдав картину на выставку — сам был сдан в больницу для душевнобольных. Образы его картины безотвязно гнались за ним. Он видел белую девушку перед кровавой пастью голодного льва и видел, как падала к ногам мученицы алая роза — последний привет неведомого друга. Он видел, как, вон из той зияющей черной дыры направо, выходил зарезанный в подземном ходе Коммод. Он слышал рык зверей, крутящих смерчи песка на арене. Тяжелый, неповоротливый германец падал перед его глазами, охваченный рыбацьей сетью ретиария, и умирал под острым трезубцем, при оглушительных воплях толпы. Боевые колесницы стаптывали тяжеловооруженных, едва в состоянии двигаться людей, пересекали встречным лошадям ноги косами, укрепленными в осях колес. А там, вверху, на уступах этого здания-горы, десятки тысяч злорадно внимательных глаз впились — не оторвутся от длинной цепи меченосцев, строгим воинским строем движущихся вокруг арены. Вот, по команде магистра, враз брякнуло их оружие, две сотни голосов враз рывкнули и оборвали по-солдатски последнее приветствие... «Ave, Caesar imperator, morituri te salutant!...»¹

Я думал об этих красивых снах, но тщетно напрягал свое воображение, чтобы вызвать их из темных пещер Колизея: старые мертвецы крепко спали. Однако... я чув-

¹ «Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!...» (лат.)

ствовал, что недалеко от меня живет и волнуется другое существо: пришло нежданное и незванное... стоит, ходит, реет, веет, — не знаю, как сказать, что о нем подумать, — где-то близко-близко. Оно трепещется, как бабочка под сеткой, и дышит яблоневым цветом... И, смело глядя в угрюмые галереи цирка-призрака, я избегал взором лишь одного косоного выступа налево, где играла узенькая полоска лунного света. Я знал, что эта полоска — ты, Зоэ! Что это ты повисла в воздухе струей светящегося тумана, качаясь на месячном луче...

Но там — на кладбище, в поезде, в Колизее — ты все-таки была скорее предчувствием, чем видением. Теперь же я видел тебя... Как? Я не знаю. Что ты? Я не понимаю. Сновидение? Призрак? Галлюцинация? Или, наконец, просто непроизвольное воспоминание зрения? Давнее впечатление твоей красоты спало в моем мозгу, забытое и неподвижное; неведомый толчок разбудил его, и оно воскресло, свежее, нарядное, полное блистающих красок, точно все это было только вчера!

Как бы то ни было: внешнее ли ты явление или я вижу тебя только духовными глазами, внутри своего сознания, — все равно. Главное, что я тебя видел. И не смутился, не испугался, но был счастлив тем, что вижу. Я знаю: это было не в последний раз. Я чувствую: между мной, живым, и тобой, мертвой, внезапно установилась таинственная связь, которой никогда не проявиться бы, пока нас обоих одинаково грело земное солнце. Наши воли сроднились. Ты мне близка. Я хочу думать о тебе, хочу сладких и сильных волнений ожидания... хочу стоять на границе загадки, которую разгадать — и желанное, и боязное счастье.

Я стараюсь вспомнить каждое слово, каждый жест твой во время наших былых встреч. О, как жаль, что их было так мало, что их недостает мне, когда я стараюсь дополнить воображением то, чего не подсказывает мне о тебе память. Я сочиняю тебя, как легенду, как миф, как

бесплодную фантастическую поэму; ее звуки и аромат назойливо врываются в каждую минуту моей жизни. Ты стоишь рядом с каждой мыслью, возбуждаемой в моем уме. И знаешь ли... это странно... но мне начинает представляться, будто это не теперь только, а и всегда так было... Только я этого не замечал...

Да! Не замечаешь воздуха, которым дышишь, не замечаешь закона тяжести, которым движется мир... Не замечаешь и великой духовной любви, которой власть узнаешь лишь тогда, когда ее фиал разбит, когда пролилось и в землю всосалось заключенное в нем вино...

Любовь!.. Страшное слово: *сильнее смерти!* Оно нечаянно сорвалось с моего языка... *а думалось* все время!.. Да неужели же его непременно надо здесь произнести?

Неужели... неужели я — твой равнодушный, насмешливый полудруг, полувраг — в самом деле любил тебя, Зоэ?... Любил — и не знал?!

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

КРАСНЫЙ СМЕХ

Отрывки из найденной рукописи

Часть I

ОТРЫВОК ПЕРВЫЙ

Безумие и ужас.

Впервые я почувствовал это, когда мы шли по энской дороге, — шли десять часов непрерывно, не останавливаясь, не замедляя хода, не подбирая упавших и оставляя их неприятелю, который сплошными массами двигался сзади нас и через три-четыре часа стирал следы наших ног своими ногами. Стоял зной. Не знаю, сколько было градусов: сорок, пятьдесят или больше; знаю только, что он был непрерывен, безнадежно-ровен и глубок. Солнце было так огромно, так огненно и страшно, как будто земля приблизилась к нему и скоро сгорит в этом беспощадном огне. И не смотрели глаза. Маленький, сузившийся зрачок, маленький, как зернышко мака, тщетно искал тьмы под сенью закрытых век: солнце пронизывало тонкую оболочку и кровавым светом входило в измученный мозг. Но все-таки так было лучше, и я долго, быть может несколько часов, шел с закрытыми глазами, слыша, как движется вокруг меня толпа: тяжелый и неровный топот ног, людских и лошадиных, скрежет железных колес, раздавливающих мелкий камень, чье-то тяжелое, надорванное дыхание

и сухое чмяканье запекшимися губами. Но слов я не слышал. Все молчали, как будто двигалась армия немых, и когда кто-нибудь падал, он падал молча, и другие натывались на его тело, падали, молча поднимались и, не оглядываясь, шли дальше, — как будто эти немые были так же глухи и слепы. Я сам несколько раз натывался и падал и тогда невольно открывал глаза, — и то, что я видел, казалось диким вымыслом, тяжелым бредом обезумевшей земли. Раскаленный воздух дрожал, и беззвучно, точно готовые потечь, дрожали камни; и дальние ряды людей на завороте, орудия и лошади отделились от земли и беззвучно, студенисто колыхались — точно не живые люди это шли, а армия бесплотных теней. Огромное, близкое, страшное солнце на каждом стволе ружья, на каждой металлической бляхе загло тысячи маленьких ослепительных солнц, и они отовсюду, с боков и снизу, забирались в глаза, огненно-белые, острые, как концы добела раскаленных штыков. А иссушающий, палящий жар проникал в самую глубину тела, в кости, в мозг, и чудилось порою, что на плечах покачивается не голова, а какой-то странный и необыкновенный шар, тяжелый и легкий, чужой и страшный.

И тогда — и тогда внезапно я вспомнил дом: уголок комнаты, клочок голубых обоев и запыленный нетронутый графин с водою на моем столике — на моем столике, у которого одна ножка короче двух других и под нее подложен свернутый кусочек бумаги. А в соседней комнате, и я их не вижу, будто бы находятся жена моя и сын. Если бы я мог кричать, я закричал бы — так необыкновенен был этот простой и мирный образ, этот клочок голубых обоев и запыленный, нетронутый графин.

Знаю, что я остановился, подняв руки, но кто-то сзади толкнул меня; я быстро зашагал вперед, раздвигая толпу, куда-то торопясь, уже не чувствуя ни жара, ни усталости. И я долго шел так сквозь бесконечные молчаливые ряды, мимо красных, обожженных затылков, почти касаясь бессильно опущенных горячих штыков, когда мысль

о том, что же я делаю, куда иду так торопливо, остановила меня. Так же торопливо я повернул в сторону, пробился на простор, перелез какой-то овраг и озабоченно сел на камень, как будто этот шершавый, горячий камень был целью всех моих стремлений.

И тут впервые я почувствовал это. Я ясно увидел, что эти люди, молчаливо шагающие в солнечном блеске, омертвевшие от усталости и зноя, качающиеся и падающие, — что это безумные. Они не знают, куда они идут, они не знают, зачем это солнце, они ничего не знают. У них не голова на плечах, а странные и страшные шары. Вот один, как и я, торопливо пробирается сквозь ряды и падает; вот другой, третий. Вот поднялась над толпою голова лошади с красными безумными глазами и широко оскаленным ртом, только намекающим на какой-то страшный и необыкновенный крик, поднялась, упала, и в этом месте на минуту сгущается народ, приостанавливается, слышны хриплые, глухие голоса, короткий выстрел, и потом снова молчаливое, бесконечное движение. Уже час сижу я на этом камне, а мимо меня все идут, и все так же дрожит земля, и воздух, и дальние призрачные ряды. Меня снова пронизывает иссушающий зной, и я уже не помню того, что представилось мне на секунду, а мимо меня все идут, идут, и я не понимаю, кто это. Час тому назад я был один на этом камне, а теперь уже собралась вокруг меня кучка серых людей: одни лежат и неподвижны, быть может, умерли; другие сидят и остолбенело смотрят на проходящих, как и я. У одних есть ружья, и они похожи на солдат; другие раздеты почти догола, и кожа на теле так багрово-красна, что на нее не хочется смотреть. Недалеко от меня лежит кто-то голой спиной кверху. По тому, как равнодушно уперся он лицом в острый и горячий камень, по белизне ладони опрокинутой руки видно, что он мертв, но спина его красна, точно у живого, и только легкий желтоватый налет, как в копченном мясе, говорит о смерти. Мне хочется отодвинуться от него, но

нет сил, и, покачиваясь, я смотрю на бесконечно идущие, призрачные покачивающиеся ряды. По состоянию моей головы я знаю, что и у меня сейчас будет солнечный удар, но жду этого спокойно, как во сне, где смерть является только этапом на пути чудесных и запутанных видений.

И я вижу, как из толпы выделяется солдат и решительно направляется в нашу сторону. На минуту он пропадает во рву, а когда вылезает оттуда и снова идет, шаги его нетверды, и что-то последнее чувствуется в его попытках собрать свое разбрасывающееся тело. Он идет так прямо на меня, что сквозь тяжелую дрему, охватившую мозг, я пугаюсь и спрашиваю:

— Чего тебе?

Он останавливается, как будто ждал только слова, и стоит, огромный, бородатый, с разорванным воротом. Ружья у него нет, штаны держатся на одной пуговице, и сквозь прореху видно белое тело. Руки и ноги его разбросаны, и он, видимо, старается собрать их, но не может: сведет руки, и они тотчас распадутся.

— Ты что? Ты лучше сядь, — говорю я.

Но он стоит, безуспешно подбираясь, молчит и смотрит на меня. И я невольно поднимаюсь с камня и, шатаясь, смотрю в его глаза — и вижу в них бездну ужаса и безумия. У всех зрачки сужены, — а у него расплылись они во весь глаз: какое море огня должен видеть он сквозь эти огромные черные окна! Быть может, мне показалось, быть может, в его взгляде была только смерть, — но нет, я не ошибаюсь: в этих черных, бездонных зрачках, обведенных узеньким оранжевым кружком, как у птиц, было больше, чем смерть, больше, чем ужас смерти.

— Уходи! — кричу я, отступая. — Уходи!

И как будто он ждал только слова — он падает на меня, сбивая меня с ног, все такой же огромный, разбросанный и безгласный. Я с содроганием освобождаю придавленные ноги, вскакиваю и хочу бежать — куда-то в сторону от людей, в солнечную, безлюдную, дрожащую даль, когда сле-

ва, на вершине, бухает выстрел и за ним немедленно, как эхо, два других. Где-то, над головою, с радостным, многоголосым визгом, криком и воем проносится граната.

Нас обошли!

Нет уже более смертоносной жары, ни этого страха, ни усталости. Мысли мои ясны, представления отчетливы и резки; когда, запыхавшись, я подбегаю к выстраивающимся рядам, я вижу просветлевшие, как будто радостные лица, слышу хриплые, но громкие голоса, приказания, шутки. Солнце точно взобралось выше, чтобы не мешать, потускнело, притихло — и снова с радостным визгом, как ведьма, резнула воздух граната.

Я подошел.

ОТРЫВОК ВТОРОЙ

...почти все лошади и прислуга. На восьмой батарее так же. На нашей, двенадцатой, к концу третьего дня осталось только три орудия — остальные подбиты, — шесть человек прислуги и один офицер — я. Уже двадцать часов мы не спали и ничего не ели, трое суток сатанинский грохот и визг окутывал нас тучей безумия, отделял нас от земли, от неба, от своих, — и мы, живые, бродили — как лунатики. Мертвые, те лежали спокойно, а мы двигались, делали свое дело, говорили и даже смеялись, и были — как лунатики. Движения наши были уверенны и быстры, приказания ясны, исполнение точно, — но если бы внезапно спросить каждого, кто он, он едва ли бы нашел ответ в затемненном мозгу. Как во сне, все лица казались давно знакомыми, и все, что происходило, казалось также давно знакомым, понятным, уже бывшим когда-то; а когда я начинал пристально вглядываться в какое-нибудь лицо или в орудие или слушал грохот, — все поражало меня своей новизною и бесконечной загадочностью. Ночь наступала незаметно, и не успевали мы увидеть ее и изумиться, от-

куда она взялась, как уже снова горело над нами солнце. И только от приходивших на батарею мы узнавали, что бой вступает в третьи сутки, и тотчас же забывали об этом: нам чудилось, что это идет все один бесконечный, безначальный день, то темный, то яркий, но одинаково непонятный, одинаково слепой. И никто из нас не боялся смерти, так как никто не понимал, что такое смерть.

На третью или на четвертую ночь, я не помню, на одну минуту я прилег за бруствером, и, как только закрыл глаза, в них вступил тот же знакомый и необыкновенный образ: клочок голубых обоев и нетронутый запыленный графин на моем столике. А в соседней комнате — и я их не вижу — находятся будто бы жена моя и сын. Но только теперь на столе горела лампа с зеленым колпаком, значит, был вечер или ночь. Образ остановился неподвижно, и я долго и очень спокойно, очень внимательно рассматривал, как играет огонь в хрустале графина, разглядывал обои и думал, почему не спит сын: уже ночь, и ему пора спать. Потом опять разглядывал обои, все эти завитки, серебристые цветы, какие-то решетки и трубы, — я никогда не думал, что так хорошо знаю свою комнату. Иногда я открывал глаза и видел черное небо с какими-то красивыми огнистыми полосами, и снова закрывал их, и снова разглядывал обои, блестящий графин, и думал, почему не спит сын: уже ночь, и ему надо спать. Раз недалеко от меня разорвалась граната, колыхнув чем-то мои ноги, и кто-то крикнул громко, громче самого взрыва, и я подумал: «Кто-то убит!» — но не поднялся и не оторвал глаз от голубеньких обоев и графина.

Потом я встал, ходил, распоряжался, глядел в лица, наводил прицел, а сам все думал: отчего не спит сын? Раз спросил об этом у ездового, и он долго и подробно объяснял мне что-то, и оба мы кивали головами. И он смеялся, а левая бровь у него дергалась, и глаз хитро подмаргивал на кого-то сзади. А сзади видны были подошвы чьих-то ног — и больше ничего.

В это время было уже светло, и вдруг — капнул дождь. Дождь — как у нас, самые обыкновенные капельки воды. Он был так неожидан и неуместен, и мы все так испугались промокнуть, что бросили орудия, перестали стрелять и начали прятаться куда попало. Ездовой, с которым мы только что говорили, полез под лафет и прикорнул там, хотя его могли каждую минуту задавить, толстый фейерверкер стал зачем-то раздевать убитого, а я заметался по батарее и что-то искал — плащ, не то зонтик. И сразу на всем огромном пространстве, где капнул дождь из набежавшей тучи, наступила необыкновенная тишина. Запоздало взвизгнула и разорвалась шрапнель, и тихо стало, — так тихо, что слышно было, как сопит толстый фейерверкер и стучают по камню и по орудиям капельки дождя. И этот тихий и дробный стук, напоминающий осень, и запах взмоченной земли, и тишина — точно разорвали на мгновение кровавый и дикий кошмар, и когда я взглянул на мокрое, блестящее от воды орудие, оно неожиданно и странно напомнило что-то милое, тихое, не то детство мое, не то первую любовь. Но вдалеке особенно громко прозвучал первый выстрел, и исчезло очарование мгновенной тишины; с тою же внезапностью, с какою люди прятались, они начали вылезать из-под своих прикрытий; на кого-то закричал толстый фейерверкер, грохнуло орудие, за ним второе — и снова кровавый неразрывный туман заволок измученные мозги. И никто не заметил, когда прекратился дождь; помню только, что с убитого фейерверкера, с его толстого, обрюзгшего желтого лица скатывалась вода, — вероятно, дождь продолжался довольно долго...

...Передо мною стоял молоденький вольноопределяющийся и докладывал, держа руку к козырьку, что генерал просит нас удержаться только два часа, а там подойдет подкрепление. Я думал о том, почему не спит мой сын, и отвечал, что могу продержаться сколько угодно. Но тут меня почему-то заинтересовало его лицо, вероятно своею